

Научная статья

УДК 821.161.1

DOI 10.25205/2713-3133-2026-1-47-61

## Стихотворение Булата Окуджавы «Счастливчик» на фоне Пушкина и оттепельной пушкинианы

Мария Александровна Александрова

Нижегородский государственный лингвистический университет  
имени Н. А. Добролюбова  
Нижний Новгород, Россия

nam-s-toboi@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5183-9322>

### Аннотация

Статья посвящена осмыслению читательских впечатлений Булата Окуджавы, творчески реализованных в системе мотивов, речевой композиции и образном строе стихотворения «Счастливчик» (1966). Показана разная направленность полемики поэта с двумя младшими современниками. В текстах Евгения Евтушенко для Окуджавы неприемлема концепция личности Пушкина, обусловленная поверхностным бунтарством периода Оттепели (упрощенная трактовка пушкинско-блоковской идеи *тайной свободы*, абсолютизация внешних выражений раскрепощенности гения в духе демонстративного поведения «эстрадного» поэта). Желанию Беллы Ахмадулиной «спасти Пушкина» (раннее стихотворение «Дуэль») Окуджава противопоставил собственное понимание идеальной судьбы поэта: если поэтесса ценой «отмены» губительного исхода поединка создает утешительный для читателя образ Пушкина, который «не знал печали», то автор «Счастливчика» трактует реальный биографический сюжет, включая финальную трагедию, как торжество жизненных ценностей героя («Ему было за что умирать...»). Диалог Окуджавы с Булгаковым (чье литературное возвращение стало важнейшим событием Оттепели) рассмотрен в следующих аспектах: с одной стороны, прослежен живой отклик поэта на карнавальную атмосферу «Мастера и Маргариты», который выразился в переосмыслении фигуры «завистника Пушкина», формировании на этой основе речевой «маски» простодушного рассказчика; с другой стороны, аллюзии к пьесе «Последние дни» (важнейший среди «цитатных» мотивов – «жандармы его стихи на память заучивали») выступают средством преодоления мифа о Пушкине-мученике. Высокая оценка концепции «Счастливчика» Ю. М. Лотманом находит подтверждение в ходе анализа имплицитных и явных связей текста с художественным миром Пушкина. Особое внимание уделено реконструкции сокровенного лирического диалога автора со своим героем: показано, что на уровне подтекста событийный состав и порядок рассказа отличаются от наивного «ролевого» монолога, поскольку начальным событием оказывается воскресение погибшего поэта; обоснована функция речевой «маски», позволяющей автору передать свое восхищенное недоумение перед *тайной свободой* Пушкина.

© Александрова М. А., 2026

eISSN 2713-3133  
Сюжетология и сюжетография. 2026. № 1. С. 47–61  
Syuzhetologiya i Syuzhetografiya [Plot Description and Analysis], 2026, no. 1, pp. 47–61

*Литературная жизнь сюжета*

*Ключевые слова*

А. Пушкин, Б. Окуджавы, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина, М. Булгаков, Ю. Лотман, пушкинский миф, биографический сюжет, мотив, поэтический рассказ

*Благодарности*

Исследование выполнено в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова при поддержке гранта Российского научного фонда № 25-28-01320, <https://rscf.ru/project/25-28-01320/>

*Для цитирования*

Александрова М. А. Стихотворение Булата Окуджавы «Счастливчик» на фоне Пушкина и оттепельной пушкинианы // Сюжетология и сюжетография. 2026. № 1. С. 47–61. DOI 10.25205/2713-3133-2026-1-47-61

## **Bulat Okudzhava's Poem "The Lucky Man" within the Context of Pushkin's Work and the Thaw-Era Pushkiniana**

**Maria A. Aleksandrova**

Linguistics University of Nizhny Novgorod  
Nizhny Novgorod, Russian Federation

[nam-s-toboi@mail.ru](mailto:nam-s-toboi@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0001-5183-9322>

*Abstract*

This article analyzes Bulat Okudzhava's poem "The Lucky Man" (1966), focusing on how his literary experiences are creatively translated into its motif structure, rhetorical composition, and figurative language. It demonstrates Okudzhava's contrasting polemical approaches to two younger contemporaries. Okudzhava criticizes Yevtushenko's portrayal of Pushkin, viewing it as shaped by the superficial rebelliousness of the Thaw-Era. Specifically, he rejects an oversimplified interpretation of Pushkin's and Blok's idea of "secret, inner freedom" and the excessive emphasis on the outward expressions of Pushkin's emancipation.

In response to Akhmadulina's effort to "save Pushkin" (as seen in her early poem "The Duel"), Okudzhava presents his own vision of the poet's ideal destiny. While Akhmadulina "cancels" the fatal outcome of the duel, creating an image of Pushkin who "knew no sorrow," the author of "The Lucky Man" interprets the actual biographical plot – including its final tragedy – as the triumph of the hero's values. Okudzhava's dialogue with Bulgakov – whose literary return became one of the most significant events of the Thaw-Era – is considered in two aspects. On the one hand, the article traces Okudzhava's vibrant engagement with the carnivalesque spirit of *The Master and Margarita*, noting how this led to a reinterpretation of the "Pushkin's envier" figure and, consequently, the adoption of the naïve narrator's "mask". On the other hand, allusions to the play *The Last Days* are interpreted as a means of overcoming the myth of Pushkin as a martyr. The high assessment of "The Lucky Man" formulated by Yuri M. Lotman is shown to be well-founded through an analysis of the poem's implicit and explicit intertexts connected to Pushkin's oeuvre. Special attention is devoted to reconstructing the author's intimate lyrical dialogue with his hero.

The analysis reveals that, at the subtextual level, the sequence of events and the narrative structure of the poem derive from the naïve "role" monologue. This divergence stems from the initial event – the resurrection of the fallen poet. The function of the narrator's "mask" is thereby confirmed as a literary device allowing Okudzhava to express both his admiration and bewilderment regarding Pushkin's "secret freedom".

eISSN 2713-3133

Сюжетология и сюжетография. 2026. № 1

Syuzhetologiya i Syuzhetografiya [Plot Description and Analysis], 2026, no. 1

*Keywords*

A. Pushkin, B. Okudzhava, E. Evtushenko, B. Akhmadulina, M. Bulgakov, Yuri M. Lotman, Pushkin myth, biographical plot, motive, poetic narrative

*Acknowledgments*

This work was carried out at Linguistics University of Nizhny Novgorod (LUNN) with financial support of the Russian Science Foundation, project no. 25-28-01320, <https://rscf.ru/project/25-28-01320/>

*For citation*

Aleksandrova M. A. Bulat Okudzhava's Poem "The Lucky Man" within the Context of Pushkin's Work and the Thaw-Era Pushkiniana. *Syuzhetologiya i Syuzhetografiya [Plot Description and Analysis]*, 2026, no. 1, pp. 47–62. (in Russ.) DOI 10.25205/2713-3133-2026-1-47-62

В известных рассказах Окуджавы о своем позднем открытии Пушкина это событие предстает выпадением из «общего хора» (Окуджава, 1997, с. 18), избавлением от стереотипов, усвоенных в школьные и студенческие годы – в пору оформления советского пушкинского канона. Началу полноценного творческого диалога с Пушкиным предшествовало «второе рождение» поэта в эпоху Оттепели. Новые обстоятельства не только раскрепощали литературное сознание для «нетривиальных подходов и концепций» [Муравьева, 1995, с. 131], но и обостряли вечный вопрос об адекватности поэтического слова пушкинской теме.

Фундамент пушкинского мифа «закладывал сам поэт» [Новиков, 2007, с. 8], оказавший доверие собратьям по музе: «И славен буду я, доколь в подлунном мире // Жив будет хоть один пиит» (Пушкин, 1957, т. 3, с. 373). Между тем литературную пушкиниану создавали авторы, чей талант заведомо несоразмерен с пушкинским, и даже классики «обычно писали о Пушкине не на его уровне» [Кормилов, 2004, с. 9]. Для участников советского «хора» проблема диалога с гением разрешалась простейшим образом. Так, Ярослав Смеляков начал стихотворение «Здравствуй, Пушкин!» (1949) признанием, сколь «страшно» ему с «поэтом всех поэтов // бедными стихами говорить», чтобы затем растворить лирическое я во всеильном *мы* – «народе», чья любовь воскрешает Пушкина «к новой жизни» в «радостной стране» и превращает *бедные стихи* в ликующий голос всего мира: «Словно песня, льется вешний свет» (Смеляков, 1967, с. 190, 191). Отказ от лирической позиции «сомневающегося» привел к омертвлению слова, которое в первой строфе еще было живым, личным. В целом же текст Смелякова служит наглядной иллюстрацией провала советских «юбилейных» планов по созданию в честь классика конгениальных ему произведений [Платт, 2017, с. 210].

Когда Оттепель восстановила естественный статус поэта, говорящего «от себя» [Чудакова, 2007, с. 82], изменился и характер ответственности перед Пушкиным.

Среди поэтов, которые «писали о Пушкине не на его уровне» (С. И. Кормилов), задавая уровень предельно высокий, важнейшими оттепельными ориентирами были Пастернак («Тема с вариациями», «Ветер»), Маяковский («Юбилейное») и в особенности Цветаева, чьи «Стихи к Пушкину» – «Страшно-резкие, страшно-вольные, ничего общего с канонизированным Пушкиным не имеющие, и всё имеющие – обратное канону. *Опасные стихи*»<sup>1</sup> (Цветаева, 1982, с. 149) –

---

<sup>1</sup> Выделено публикаторами цитируемого текста.

воспринимались как жгуче-злободневные. Публикаторы цикла вынужденно соблюдали осторожность: процесс растянулся почти на весь срок Оттепели – от двух текстов в первом альманахе «День поэзии» (1956) до шести (из семи) в цветаевском томе «Библиотеки поэта» (1965); своевременность читательских впечатлений обеспечивал самиздат. Сарказм по поводу классика «в роли Командора» (Цветаева, 1965, с. 281), адресованный «пушкиньянцам» первой эмиграции, резонировал с пафосом отвержения советского пушкинского канона. Если к Блоку восходит символизация Пушкина как носителя *тайной свободы*, то цветаевский *африканский самовол* и *бушевавший африканец* Маяковского стали в пору Оттепели олицетворением свободы явной – явленной напоказ всему миру.

Потребность в таком символе и предпочтение внешнего сокровенному, характерные для времени активного дистанцирования от сталинской эпохи, особенно напористо выражены Евгением Евтушенко, способным «улавливать и запечатлеть в хлестких формулах токи общественного возбуждения» (Самойлов, 2014, с. 469). Евтушенко фактически провозгласил ущербность идеи *тайной свободы* (подвергнутой упрощению и «отделенной» от Пушкина), обвинив в измене делу поэтического «мятежа» адресата стихотворения «Большой талант всегда тревожит...» (1956): «*Ты спрятался в свою свободу, / и никому ты не мешал, / как будто бы ушел под воду / и сквозь тростиночку дышал*»<sup>2</sup> (Евтушенко, 1962, с. 61). Показательно, что этот текст в авторском сборнике «Нежность» (1962) следует сразу за программным стихотворением «Пушкин».

Эстрадные поэты чувствовали себя призванными бунтовать «во имя Пушкина». Вознесенский в «Балладе точки» (1958) отождествляет, вслед за пастернаковской «Смертью поэта», героинку дуэли Пушкина и героинку самоубийства Маяковского; когда же метафора «вторая проекция той же прямой» (пулевой прямой) (Вознесенский, 2015, с. 59) применяется к оттепельному поколению, смелость аналогии оборачивается хлестаковщиной. Евтушенко продолжает нападки автора «Юбилейного» на пушкинистов («...Воздвигли – аж тошно! – цитадели цитат» (Евтушенко, 1962, с. 60)) и, будучи зависим от «Стихов к Пушкину» в приемах риторической суггестии, подражает аллитерациям раннего цветаевского стихотворения «Психея». Цветаева в первой части пушкинского цикла обрушивает на противников каскад саркастических вопросов, а Евтушенко использует «утвердительные» конструкции, тем же каскадным способом нанизанные на тезис: Пушкин есть Пушкин. Цветаева создает звуковой образ имени поэта, навеянный двустилием из «Медного всадника» – «Шипенье пенистых бокалов / И пунша пламень голубой» (Пушкин, 1957, т. 4, с. 382): «Пунш и полночь. Пунш – и Пушкин, / Пунш – и пенковая трубка / Пышущая. Пунш – и лепет / Бальных башмачков по хриплым / Половицам» (Цветаева, 1965, с. 154). Евтушенко бессознательно окарнакирует открытия предшественников: «От пышного пунша, / салатов, салазок / до пуль и до пушек / на той, на Сенатской, / от пышущих пашен / и снова до пунша, / поёт или пляшет – / он Пушкин! / Он Пушкин!»<sup>3</sup> (Евтушенко, 1962, с. 60). «Пуншевому» Пушкину вторит «шумящий, шаманский / гуляки пророка / характер шампанский!» (Евтушенко, 1962, с. 60). Доброжелательный к Евтушенко

<sup>2</sup> Здесь и далее курсив мой. – М. А.

<sup>3</sup> Вторичность приемов Евтушенко не оставляет сомнений в том, что «Психея», в начале 1960-х еще не републикованная, была известна ему по самиздату.

рецензент на этот раз высказался едко: «Газированный Пушкин целиком остается на профессиональной совести автора» [Чудаков, 1962, с. 25].

Итак, вопрос о *бедных стихах* в честь гения актуальности не терял. В этих обстоятельствах, по-своему драматичных, рождается лирическая пушкиниана Окуджавы.

Отмечалось, что в стихах о Пушкине Окуджава интерпретирует прежде всего личность поэта, избегая строить собственные лирические сюжеты на осмыслении пушкинских произведений [Кулагин, 2019, с. 121–122]. Но, поскольку ключ к личности Пушкина – его творчество, суть дела заключается в преломлении читательских впечатлений. Очевидно также, что поэту небезразлична история пушкинской темы, которая (подобно судьбе других классических феноменов) представляет собой «цепь “смыслоутрат” и достраиваний смыслов» [Хализев, 2002, с. 328]. Стихотворение Окуджавы «Счастливчик»<sup>4</sup> позволяет наблюдать освоение разнородных, несопоставимых по эстетической ценности литературных источников.

Нам уже приходилось анализировать повторяющийся прием, маркирующий диалог Окуджавы с поэтами: в сильную позицию начала текста вынесен чужой образ, измененный автором *по духу своему* [Александрова, Мосова, 2018, с. 44, 47, 54; Александрова, 2022, с. 173]. Но такие партнеры по диалогу, как Александр Блок, Редьярд Киплинг, Давид Самойлов, оставались высоко ценимыми творцами даже в ситуации полемики; Окуджава отзывался на словообраз или мотив с богатым потенциалом. У Евтушенко, поэта неровного, взят один из худших текстов – квинтэссенция «эстрадности». Редкий случай требует специального комментария.

Евтушенко объяснял «эстрадность» как «некую витальную силу» надличной природы, дававшую чувство слияния с огромной аудиторией [Кондаков, 2018, с. 186]. По тому же поводу взыскательный литературный критик писал, что время Оттепели, «избаловавшее своих стихотворцев заранее обеспеченным вниманием изголодавшегося и неразборчивого читателя, <...> располагало ко вседозволенности» [Рассадин, 1996, с. 29]. Такую деформацию творческого сознания с максимальной наглядностью проявляла пушкинская тема, что вполне могли обсуждать друзья – Рассадин и Окуджава. Недаром евтушенковскую версию образа Пушкина Окуджава запомнил настолько хорошо, что оспорил ее спустя четыре года.

Для сопоставления текстов особенно важны начальные строки: «О, баловень балов / и баловень боли! / Тулупчик с бабы – / как шубу соболью. / Он – вне приказаний. / Он – звон и азарт! / Он перегусарит / всех гусар! / Он – вне присяганий. / Он – цокот цикад. / Он перецыганит / всех цыган!» (Евтушенко, 1962, с. 59). *Тулупчик с бабы* варьирует *заячий тулупчик* с плеча Гринёва; поменяв местами дарящего и одариваемого, Евтушенко выставил своего героя ряженым в бабью одежду. Дорожа мифологемой любви *русской бабы* (олицетворенной России) к поэтам, к декабристам, ко всем мятежникам, автор не заметил нелепости портрета. Окуджава возвращает пресловутую *бабу* на подходящее ей место – в избу. Евтушенко, желая с первых строк покорить читателя фонетическими эффектами, не позаботился семантически оправдать сочетание *баловень балов и баловень боли*. Окуджава сохраняет в качестве опорного словообраза *боль*, чтобы минималь-

<sup>4</sup> Впоследствии печаталось под заглавием «Счастливчик Пушкин».



Вот пример настоящей *удачливости*... <...> Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, *всё шло ему на пользу, всё обращалось к его славе!* Но что он сделал? Я не постигаю... Что-нибудь особенное есть в этих словах: «Буря мглою...»? Не понимаю!.. *Повезло, повезло!* – вдруг ядовито заключил Рюхин <...>, – стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие... (Булгаков, 1966, с. 48).

Только завистник Пушкина может полагать, что

<...> *всё ему*

*просто:*

жил в Одессе, бывал в Крыму,  
ездил в карете,  
деньги в долг давали ему  
до самой

смерти.

Очень вежливы и тихи,  
делами замученные,  
жандармы

его стихи

на память заучивали!

(с. 110.)

Убедительность параллели с «Мастером...» возрастает при выявлении еще одного булгаковского впечатления Окуджавы – пьесы о Пушкине. Важен контекст восприятия обоих произведений: это метасюжет «беззаконного творца», выстроенный самым порядком публикации «Последних дней» (1955, 1962, 1965), «Кабалы святош» (1962), «Жизни господина де Мольера» (1962), «Театрального романа» (1965) и, наконец, романа-завещания.

Как и в «Мастере...», где *мнение народное* о Пушкине выражают обыватели [Яблоков, 2001, с. 139–140], в «Последних днях» *мирскую молву* направляют самозванные судьи гения. Но есть существенное отличие. Среди многих голосов выделен самый ничтожный участник событий – Битков, жандармский соглядатай, проникший в квартиру Пушкина под видом часового мастера. Слушая (в первой сцене), как Александрина Гончарова напевает «Зимний вечер», он восклицает: «Какая чудная песня!» (Булгаков, 1965, с. 343), а в финальном монологе объясняет причины невольной симпатии к жертве слежки:

*Самые лучшие стихи написал:* «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя.

То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя...». Слышишь, верно, как дитя (Булгаков, 1965, с. 411).

Именно такой персонаж необходим Булгакову для итогового обобщения, когда все бесчисленные поводы конфликта Пушкина с миром отступают перед главной – неустранимой – причиной:

Да, стихи сочинял... И из-за тех стихов никому покоя... ни ему, ни начальству, ни мне, рабу божьему Степану Ильичу... Я ведь за ним всюду... Но не было фортуны ему. Как ни напишет, мимо попал, не туда, не те, не такие... (Булгаков, 1965, с. 410).

Фатальная «неудачливость» поэта означает его принципиальную несовместимость с наличной реальностью. Сочувственная сентенция маленького человека

и злобное заключение бездарного Рюхина соотнесены благодаря цитированию одних и тех же пушкинских строк. Этот выразительный контраст, по-видимому, стал для Окуджавы творческим стимулом [Александрова, 2021, с. 310].

Интонации сказа «сгущаются» в речевую «маску» простеца – благодушного (в отличие от Рюхина) завистника Пушкина – на том этапе, когда декларация *всё ему просто* подкрепляется конкретными фактами пожизненного «везения». Первый аргумент – «деньги в долг давали ему / до самой смерти» (с. 109). Булгаков в первой сцене выводит ростовщика, своего рода *чёрного человека*: приняв от свояченицы Пушкина ее драгоценности и порассуждав о добродетели терпения, он обещает переписать просроченный вексель, который поэту всё равно не оплатить *до самой смерти*.

Еще более явно отсылает к «Последним дням» эпизод с жандармами:

Очень вежливы и тихи,  
делами замученные,  
жандармы его стихи  
на память заучивали!  
(с. 110.)

В четыре строки Окуджава вместил содержание нескольких сцен пьесы. Император, заставший генерала Дубельта на службе в неурочное время, осведомляется, не помешал ли заниматься делами; затем обращается к Бенкендорфу, сопровождающему его особу в поздних разъездах: «Прости, Александр Христофорович, что такую обузу <Пушкина> тебе навязал. *Истинное мучение!*» (Булгаков, 1965, с. 378, 380). В тиши жандармского кабинета, где *делами замученные* внимают верховному чиновнику империи, решается судьба поэта: автору стихотворения «Мирская власть» предсказано, что он «дурно кончит» (Булгаков, 1965, с. 379–380). В то же время растерянность бюрократического государства перед стихией творчества выражена лейтмотивом – заучиванием пушкинских стихов по долгу службы. Сначала Дубельт выслушивает доклад Биткова, обязанного запоминать дословно рукописи поднадзорного: тот декламирует «Зимний вечер» (Булгаков, 1965, с. 373), по простоте душевной не делая различия между «крамольными» и прочими текстами. Так опасным для власти оказывается всё, что Пушкиным написано, и начальник корпуса жандармов, охваченный странной тревогой, сам твердит неотвязное «Буря мглою небо кроет...» (Булгаков, 1965, с. 376, 382). Наконец, в финале Битков, отправленный вместе с жандармским офицером присматривать за неблагонадежным мертвецом по пути в Святые Горы, сетует под вой бури: «Ах, сколько я стихов переучил, будь они неладны!» (Булгаков, 1965, с. 410).

В рецепции Окуджавы зависимость преследователей от жертвы становится буквальной: спутники *счастливчика* как будто подыгрывают ему. Сарказм, вложенный поэтом в комплиментарные характеристики терпеливых кредиторов, вежливых жандармов, очевиден и без булгаковского фона; но его реконструкция позволяет уточнить полемическую функцию приёма.

«Последние дни» – трагедия без катарсиса, едва ли не самое мрачное во всей пушкиниане произведение. Даже массовая сцена на Мойке, предназначенная сделать пьесу идеологически приемлемой для советского театра, пронизана отчаянием, которое затравленный Булгаков разделял со своим героем: персонаж из толпы начинает читать стихотворение еще неведомого миру Лермонтова со строк

«Не вынесла душа поэта *позора мелочных обид...*» – и обрывает цитату на словах «Спасенья нет» (Булгаков, 1965, с. 405, 406). Младший современник Булгакова, с 1937-го носивший клеймо «сына врагов народа», должен был глубоко сочувствовать интенции автора трагедии. И всё же в понимании Окуджавы Пушкин – один из немногих, кто способен возвыситься над обреченностью. Позднее с поэтом солидаризируется Ю. М. Лотман, которому Пушкин открылся как «гениальный мастер жизни», обладавший неслыханным даром «быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах» [Лотман, 1995, с. 184] – счастливым своей творческой силой: «Пушкин всё, к чему ни касался, превращал в творчество, в искусство» [Лотман, 2006, с. 346]. В письме к Б. Ф. Егорову от 20–21 октября 1986 г. миф о «замученном интеллигенте» опровергнут не только биографическими фактами, но и цитированием «Счастливчика» [Там же, с. 348].

Причины устойчивости образа Пушкина-мученика понятны: опыт XX столетия всей своей тяжестью поддерживал традицию. Одним из путей преодоления этой мощной установки был акт воображаемого спасения Пушкина, доступный прежде всего поэтам, мыслящим в модальности мечты, желания. Оттепельная пушкиниана уже не следовала примеру автора «Юбилейного», предлагавшего обезвредить Дантеса надежным советским способом, предпочитая восстанавливать справедливость в духе норм дворянского века. Таково раннее стихотворение Беллы Ахмадулиной «Дуэль», где «всё идёт наоборот»: Дантес повержен, а Пушкин

*Стихи писал, не знал печали,  
дела его прекрасно шли,  
и поводила всё плечами  
и улыбалась Натали*  
(Ахмадулина, 1962, с. 36–37).

Непрерывность поэтического диалога Окуджавы с Ахмадулиной, сопровождаемого апелляцией обоих к миру Пушкина [Абельская, 2015, с. 41–48], дает право рассматривать в этом ряду и «Счастливчика» – на правах мягко-полемической реплики. Ахмадулинский образ беспечно счастливого «наивен» в силу сознательно избранной стратегии: «*Чем я утешу поражённых / ничтожным превосходством зла?*» (Ахмадулина, 1962, с. 36). Старший друг поэтессы не ищет утешения в сказочном мире победившей справедливости, где враги Пушкина могут быть «обезврежены».

Во власти автора «Счастливчика» только свободная речь, стилевая игра. В поэтическом рассказе спутники поэта сменяют друг друга по принципу градации, сообразно степени причиненной герою боли, и параллельно раскрепощается ролевой персонаж; с появлением самой зловещей фигуры он непринужденно переключается на молодежный сленг:

*Даже царь приглашал его в дом,  
желая при этом  
потрепаться о том о сём  
с таким поэтом*  
(с. 110).

Очередное усилительное *даже* выражает наивысшую степень удачливости:

*Литературная жизнь сюжета*

Он красивых женщин любил  
любовью не чинной,  
и даже убит он был  
красивым мужчиной  
(с. 110).

Смерть из-за красавицы от руки красавца совершается словно бы по особому благоволению судьбы. Воистину, *всё шло ему на пользу, всё обращалось к его славе*.

Ритмический рисунок, изначально «вольный», по мере движения сюжета выравнивается, что готовит финальную смену интонации и упразднение наивного рассказчика. Торжествует лирический голос с пушкинскими обертонами:

Он умел бумагу марать  
под треск свечки!  
Ему было за что умирать  
у Чёрной речки  
(с. 110).

Артистизм ведения речи обусловил естественное разрешение «лёгкой», карнальной игры героическим аккордом.

Единственную прямую цитату из Пушкина Окуджава приберег для «сильного места» финала. Уменьше *бумагу марать* вторит небрежной самооценке гения: «Я на берегу парнасских вод / Любил марать поэмы, оды...» (Пушкин, 1956, т. 2, с. 34); «Перу старинной нет охоты / Марать летучие листы...» (Пушкин, 1957, т. 5, с. 137). Кратчайшее цитирование дает очередное приращение смысла.

Во-первых, ретроспективно усложняется содержание «многоголосого» слова. Посмертные толки завистника об *Александре Сергеевиче* начинают звучать эхом лирико-юмористического предсказания автора «Евгения Онегина»: «Быть может (лестная надежда!) / Укажет *будущий невежда* / На мой прославленный портрет / И молвит: то-то был Поэт!» (Пушкин, 1957, т. 5, с. 54).

Во-вторых, перечитывание, необходимость которого внушает переключка начала и финала, выявляет имплицитный лирический диалог с Пушкиным. Его маркером служит словообраз *боль*, рождающий мгновенный эмпатический отклик: «Александр Сергеевичу хорошо! / Ему прекрасно! / *Гудит мельничное колесо, / боль угасла*» (с. 109). Внимательному читателю Пушкина, видимо, запомнилась устойчивая связь мельницы с темой смерти: у мельницы стрелялись Онегин и Ленский; в драме «Русалка» на мельнице завязывается и разрешается самоубийством история любви; ветхая мельница – печальный символ в элегии «Вновь я посетил...» К этим впечатлениям восходит поэтическая интерпретация топографии окрестностей Михайловского. Зная, что в пушкинское время мельница находилась на полдороге между усадьбой и Святогорским монастырем<sup>7</sup>, автор «Счастливого» передал состояние героя через успокоительный мельничный шум,

---

<sup>7</sup> Реконструкцию впечатлений Окуджавы, оставленных первым посещением Михайловского в 1960 г. (включая экскурсионный рассказ С. С. Гейченко с упоминанием мельницы в деревне Бугрово) см.: [Козмин, 2013]. Память об этой поездке засвидетельствована одной деталью «Счастливого», отразившей современную реальность: *только десять минут езды до ближней ярмарки*; гостей музея везла машина, тогда как всадник покрывал расстояние в четыре с лишним версты за полчаса [Там же, с. 132–133].

созвучный чувству облегчения после страданий. Поскольку в свете финала *угасшая боль* получает вполне определенное значение – боль дуэльной раны, речь идет об исцелении смертью, об исполнении желания поэта упокоиться в родных местах: «И хоть бесчувственному телу / Равно повсюду истлевать, / Но ближе к милому пределу / Мне всё б хотелось почивать» (Пушкин, 1957, т. 3, с. 136). Именно здесь герою Окуджавы *хорошо, прекрасно*.

Мотив исцеления-упокоения побуждает вспомнить контрастный булгаковский фон. Драматург специфически перекодировал мрачное политическое значение вмешательства власти в погребение Пушкина:

Помереть-то он помер, а вон видишь, ночью, буря, столпотворение, а мы по пятьдесят верст, по пятьдесят верст... Вот тебе и помер... Я и то опасаясь: зароем мы его, а будет ли толк... Опять, может, спокойствия не настанет... (Булгаков, 1965, с. 410)

Тем самым акцентирована сквозная для пьесы идея мистической сущности творческого дара. Стремительный путь сквозь ночную метель «в Святые Горы <...>, в обитель дальнюю» (Булгаков, 1965, с. 410) символизирует воссоединение гения с грозной потусторонней стихией, которой он, пребывающий «на грани светлого и темного мировых начал», изначально сродни [Яблоков, 2001, с. 141]. Совершенно иначе мифологизирует пушкинское возвращение Окуджавы: его герой и в своем посмертном инобытии остается *земных земней*. Он вслушивается в песни жаворонков и гудение мельничного колеса, видит вблизи сощуренные от солнечного света глаза бабы, выглядывающей из окна избы; для него привычны дорожные ориентиры верховых прогулок от Михайловского *до ближней ярмарки*; «павший зимой у *Чёрной речки* (топоним несет семантику ночи, мрака), он воскресает весной и обретает всё, что любил при жизни» [Александрова, 2021, с. 315]. Мифопоэтическая условность согласуется с реальностью – майской (по старому стилю) датой рождения Пушкина.

Архитектоническая целостность текста, обусловленная всеми вышеописанными образными ходами, имеет еще одну особенность: хотя представитель *мирской молвы* и носитель авторского лиризма формально не разграничены, на том и другом уровне поэтический рассказ имеет особый событийный состав и порядок. Рассказчик простодушно констатирует, что *Александр Сергеечу*, как и подобает *счастливицу, хорошо*, а затем, следуя от одной биографической вехи к другой, излагает миф о пушкинском везении. Напротив, сокровенный лирический диалог с Пушкиным начат инверсией: радость воскресения-возвращения предшествует гибели, задавая восприятие всего жизненного сюжета. Важно, что при этом отнюдь не умаляется трагичность финального события. Окуджавы усилил траурную семантику дуэльного топонима ассонансами на гулкое *у*, раскатистыми аллитерациями, и одновременно – тем же лаконичным речевым жестом – сопряг гибель Пушкина с торжеством его жизненных ценностей:

Ему было за что умирать  
у Чёрной речки  
(с. 110).

Окуджавы лишь указывает на парадоксальную способность Пушкина «быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах» [Лотман, 1995, с. 184],

заведомо не претендуя постигнуть эту тайну. Речевая «маска» наивного рассказчика – способ передать авторское чувство восхищенного недоумения.

Переход к финалу недаром сопровождается цитатой: воссоздать в слове *тайную свободу* Пушкина под силу только самому Пушкину, который *умел бумагу мартать*. Характерно, что из всей пушкинской афористики Окуджавы выбрал шутовскую формулу, мистифицирующую любопытных той легкостью, которую гений (подобно Импровизатору из повести «Египетские ночи») не берется изъяснить. По отношению к Пушкину современный поэт находится в положении Чарского – бескорыстного завистника: «Итак, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?..» (Пушкин, 1957, т. 6, с. 380). *И всё ему просто...* Говоря о Пушкине *на фоне Пушкина*, Окуджавы нашел творческие преимущества в самой позиции смирения перед гением.

### Список литературы

*Абельская Р. Ш.* Булат Окуджавы и Белла Ахмадулина «на фоне Пушкина» // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2015. № 6. С. 41–48. DOI 10.20339/PhS.6-15.041

*Александрова М.* Мифы о Пушкине и стихотворение Булата Окуджавы «Счастливчик» // Сборник Матице српске за славистику. 2021. Књ. 99. С. 301–319. DOI 10.18485/MS\_ZMSS.2021.99.18

*Александрова М. А.* Пушкин-памятник в поэтической картине мира Булата Окуджавы // Сибирский филологический журнал. 2022. № 4. С. 166–179. DOI 10.17223/18137083/81/13

*Александрова М. А., Мосова Д. В.* Блоковская традиция в лирике Булата Окуджавы: Монография. М.: ФЛИНТА; Наука, 2018. 168 с.

*Кибальник С. А.* Пушкин и современная культура. Л.: Знание, 1989. 32 с.

*Козмин В. С. С.* Гейченко как соавтор Б. Ш. Окуджавы // Материалы XVI Февральских чтений памяти С. С. Гейченко «Хранители» (14–16 февраля 2013 года). Сельцо Михайловское: Пушкинский Заповедник, 2013. С. 127–146.

*Кондаков И. В.* Феномен «эстрадности» в культуре оттепели // Художественная культура. 2018. № 4. С. 162–195.

*Кормилов С. И.* «Беллетристическая пушкиниана» как научная проблема // Беллетристическая пушкиниана XIX–XXI веков: Материалы Междунар. науч. конф. Псков, 20–23 окт. 2003 г. Псков: Изд-во ПГПИ, 2004. С. 5–32.

*Кулагин А. В.* Лирика Булата Окуджавы: научно-популярный очерк. 2-е изд., перераб. М.: Булат, 2019. 178 с.

*Лотман Ю. М.* Пушкин. СПб.: Искусство-СПб, 1995. 847 с.

*Лотман Ю. М.* Письма: 1940–1993. М.: Языки славянской культуры, 2006. 800 с.

*Муравьева О. С.* Образ Пушкина: исторические метаморфозы // Легенды и мифы о Пушкине / Под ред. М. Н. Виролайнен. [2-е изд., испр.] СПб.: Академический проект, 1995. С. 113–133.

*Новиков Вл.* Двадцать два мифа о Пушкине (1799–1999) // Новиков Вл. Роман с литературой. М.: Intrada, 2007. С. 6–19.

Платт Дж. Б. Здравствуй, Пушкин!: сталинская культурная политика и русский национальный поэт / Пер. с англ. Я. Подольного. СПб. : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2017. 352 с.

Рассадин С. Б. Время стихов и время поэтов // Арион. 1996. № 4. С. 18–29.

Хализев В. Е. Теория литературы. 3-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 2002. 436 с.

Чудаков С. Настоящую нежность не спутаешь // Огонек. 1962. № 44. С. 25.

Чудакова М. О. Возвращение лирики: Булат Окуджава // Чудакова М. О. Новые работы: 2003–2006. М.: Время, 2007. С. 62–107.

Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова. М.: ЯСК, 2001. 424 с.

#### Список источников

Ахмадулина Б. Струна. М.: Сов. писатель, 1962. 120 с.

Булгаков М. А. Драмы и комедии. М.: Искусство, 1965. 596 с.

Булгаков М. А. Мастер и Маргарита: Роман. Книга первая // Москва. 1966. № 11. С. 7–127.

Вознесенский А. Стихотворения и поэмы: В 2 т. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома; Изд-во «Вита Нова», 2015. Т. 1. 536 с.

Евтушенко Е. Нежность. М.: Сов. писатель, 1962. 192 с.

Окуджава Б. Март великодушный. М.: Сов. писатель, 1967. 144 с.

[Окуджава Б.] Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе... / Из бесед с И. Ришиной // Булат Окуджава: Спец. вып. [Лит. газ.]. 1997. [21 июля]. С. 18.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. М.: АН СССР, 1956. Т. 2. 462 с.; 1957. Т. 3. 558 с.; Т. 4. 595 с.; Т. 5. 638 с.; Т. 6. 839 с.

Самойлов Д. С. Памятные записки / Сост. Г. И. Медведева, А. С. Немзер. М.: Время, 2014. 704 с.

Смеяков Я. Избранные произведения: В 2 т. М.: Худож. лит., 1967. Т. 1. 334 с.

Цветаева М. Избранные произведения. М.; Л.: Сов. писатель, 1965. 812 с.

Цветаева М. Письма к Анне Тесковой. Иерусалим: Версты, 1982. 214 с.

#### References

Abelskaya R. Sh. Bulat Okudzhava i Bella Akhmadulina ‘na fone Pushkina’ [Bulat Okudgava and Bella Akhmadulina ‘against the background of Pushkin’]. *Philological Sciences. Scientific Essays of Higher Education*, 2015, no. 6, pp. 41–48. (in Russ.) DOI 10.20339/PhS.6-15.041

Aleksandrova M. A., Mosova D. V. Blokovskaya traditsiya v lirike Bulata Okudzhavy [Blok’s Tradition in the Lyrics of Bulat Okudzhava]. Moscow, Flinta, Nauka, 2018, 168 p. (in Russ.)

Aleksandrova M. Mify o Pushkine i stikhotvoreniye Bulata Okudzhavy “Schastlivchik” [Pushkin’s myths and Bulat Okudzhava’s poem “Lucky man”]. *Matica Srpska Journal of Slavic Studies*, 2021, vol. 99, pp. 243–257. (in Russ.) DOI 10.18485/ms\_zmss.2021.99.18

Aleksandrova M. A. Pushkin-pamyatnik v poeticheskoi kartine mira Bulata Okudzhavy [Pushkin as a monument in the poetic worldview of Bulat Okudzhava]. *Siberian*

*Journal of Philology*, 2022, no. 4, pp. 166–179. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/81/13

Chudakov S. Nastoyashchuyu nezhnost' ne sputayesh' [True tenderness]. *Ogonek*, 1962, no. 44, p. 25. (in Russ.)

Chudakova M. O. Vozvrashchenie liriki: Bulat Okudzhava [Return of the lyrics: Bulat Okudzhava]. In: Chudakova M. O. Novye raboty [New Works]: 2003–2006. Moscow, Vremya Publ., 2007, pp. 62–107. (in Russ.)

Khalizev V. E. Teoriya literatury [Literary theory]. 3<sup>rd</sup> ed., suppl. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2002, 436 p. (in Russ.)

Kibalnik S. Pushkin i sovremennaya kul'tura [Pushkin and contemporary culture]. Leningrad, Znanie Publ., 1989, 32 p. (in Russ.)

Kondakov I. V. Fenomen 'estradnosti' v kul'ture ottepeli [The Phenomenon of Variety in the Culture of 'Thaw' Epoch]. *Khudozhestvennaya kul'tura [Art and Cultural Studies]*, 2018, vol. 4, pp. 165–195. (in Russ.)

Kormilov S. I. Belletristicheskaya pushkiniana kak nauchnaya problema [Fictional Pushkiniana as a Scientific Problem]. In: Belletristicheskaya pushkiniana XIX–XXI vekov [Fiction about Pushkin in the 19<sup>th</sup> – 21<sup>th</sup> centuries]. Pskov, PSPI Press, 2004, pp. 5–32. (in Russ.)

Kozmin V. S. S. Geychenko kak soavtor B. Sh. Okudzhavy [S. S. Geychenko as co-author B. S. Okudzhava]. In: Materialy XVI Fevral'skikh chteniy pamyati S. S. Geychenko "Khraniteli" [Materials of the XVI February conference in memory of S. S. Geychenko "Guardians"]. Mikhaylovskoe, Pushkinskiy Zapovednik Publ., 2013, pp. 127–146. (in Russ.)

Kulagin A. V. Lirika Bulata Okudzhavy [Bulat Okudzhava's Lyrics]. 2 ed., reworked. Moscow, Bulat Publ., 2019, 178 p. (in Russ.)

Lotman Yu. M. Pushkin [Pushkin]. St. Petersburg, Iskusstvo-SPb Publ., 1995, 847 p. (in Russ.)

Lotman Yu. M. Pis'ma [Letters]: 1940–1993. Moscow, Yazyki slavyanskoi kul'tury, 2006, 800 p. (in Russ.)

Muravyeva O. S. Obraz Pushkina: istoricheskiye metamorfozy [The Image of Pushkin: Historical Metamorphoses]. In: Virolaynen M. N. (ed.). Legendy i mify o Pushkine [The Legends and Myths about Pushkin]. St. Petersburg, Akademicheskii proekt Publ., 1995, pp. 113–133. (in Russ.)

Novikov VI. Dvadsat' dva mifa o Pushkine (1799–1999) [Twenty-two myths about Pushkin]. In: Novikov VI. Roman s literaturoi [Romance with Literature]. Moscow, Intrada Publ., 2007, pp. 6–19. (in Russ.)

Platt J. B. Hello, Pushkin!: Stalinist Cultural Policy and the Russian National Poet. Transl. by Ya. Podolny. St. Petersburg, European Uni. Press, 2017, 352 p. (in Russ.)

Rassadin S. B. Vremya stikhov i vremya poetov [Time of poetry and time of poets]. *Arion*, 1996, no. 4, pp. 18–29. (in Russ.)

Yablokov E. Khudozhestvennyi mir Mikhaila Bulgakova [Art world of Mikhail Bulgakov]. Moscow, Yazyki slavyanskoi kul'tury Publ., 2001, 424 p. (in Russ.)

### List of Sources

Akhmadulina B. Struna [String]. Moscow, Sovetskii pisatel' Publ., 1962, 120 p. (in Russ.)

*Александрова М. А. Стихотворение Булата Окуджавы «Счастливчик»*

- Bulgakov M. A. *Dramy i komedii* [Dramas and comedies]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1965, 596 p. (in Russ.)
- Bulgakov M. A. *Master i Margarita* [The Master and Margarita]. Novel. The First Book. *Moskva*, 1966, no. 11, pp. 7–127. (in Russ.)
- Evtushenko E. *Nezhnost'* [Tenderness]. Moscow, Sovetskii pisatel' Publ., 1962, 192 p. (in Russ.)
- Okudzhava B. *Mart velikodushnyi* [Magnanimous March]. Moscow, Sovetskii pisatel' Publ., 1967, 144 p. (in Russ.)
- [Okudzhava B.] *Iz besed s I. Rishinoy* [Conversations with I. Rishina]. In: Bulat Okudzhava: Special edition [Literaturnaya gazeta], 1997, [July 21], p. 18. (in Russ.)
- Pushkin A. S. Complete works. In 10 vols. 2<sup>nd</sup> ed. Moscow, AS USSR Publ., 1956, vol. 2, 462 p.; 1957, vol. 3, 558 p.; vol. 4, 595 p.; vol. 5, 638 p.; vol. 6, 839 p. (in Russ.)
- Samoilov D. S. *Pamyatnye zapiski* [Memorandums]. Ed. by G. I. Medvedeva, A. S. Nemzer. Moscow, Vremya Publ., 2014, 704 p. (in Russ.)
- Smelyakov Ya. Selected Works. In 2 vols. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1967, vol. 1, 334 p. (in Russ.)
- Tsvetayeva M. Selected Works. Moscow, Leningrad, Sovetskii pisatel' Publ., 1965, 812 p. (in Russ.)
- Tsvetayeva M. *Pis'ma k Anne Teskovoy* [Letters to Anna Teskova]. Jerusalem, Versty Publ., 1982, 214 p. (in Russ.)
- Voznesensky A. *Stikhotvoreniya i poemy* [Verse and Poems]. In 2 vols. St. Petersburg, Pushkinskii Dom Publ.; Vita Nova Publ., 2015, vol. 1, 536 p. (in Russ.)

### **Информация об авторе**

*Мария Александровна Александрова*, доктор филологических наук, доцент  
Scopus Author ID 55336606000  
WoS Researcher ID Q-3981-2018  
SPIN 2077-3141

### **Information about the Author**

*Maria A. Aleksandrova*, Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor  
Scopus Author ID 55336606000  
WoS Researcher ID Q-3981-2018  
SPIN 2077-3141

*Статья поступила в редакцию 02.10.2025;  
одобрена после рецензирования 08.12.2025; принята к публикации 08.12.2025  
The article was submitted on 02.10.2025;  
approved after reviewing on 08.12.2025; accepted for publication on 08.12.2025*